### Немного смазки

Эрик Фрэнк Рассел

Все в корабле жужжало, завывало, бренчало. Нота была низкая, она напоминала звучание большой трубы органа. Она стонала в обшивке корпуса, рыдала в шпангоутах, билась в костях и нервах, ударяла в усталые уши, и не слышать ее было невозможно. Во всяком случае, через неделю, месяц или год. И уж тем более спустя без малого четыре года.

Способа избавиться от шума не было. Он был неизбежен и неустраним, когда в цилиндр из металла с высокой звукопроводимостью втискивали атомный двигатель.

В первом корабле скрежетание было на сто герц выше, минута за минутой, час за часом — и корабль так и не вернулся. Наверно, еще и теперь, через тридцать лет, он по-прежнему завывает, никем не слышимый, в бесконечных пустынях космоса.

Во втором корабле двигательный отсек был обит толстым слоем войлока, а у дюз было кремниевое покрытие. Низкий звук. Гудение пчелы, усиленное в двадцать тысяч раз. Пчела так и не вернулась в свой улей: восемнадцать лет назад она вылетела в звездное поле и теперь слепо неслась в новую сотню, тысячу или десять тысяч лет.

А третий корабль, сотрясаясь от грохота, летел назад — домой. Нащупывая дорогу к еще невидимой красноватой точке, затерянной в тумане звезд, он, как заблудшая душа, ищущая спасения, был исполнен решимости не погибнуть. Третий по счету — должно же это что-нибудь значить!

У моряков есть свои морские суеверия. У космонавтов — свои космические. В капитанской кабине, где Кинрад сидел, склонившись над бортовым журналом, суеверие воплотилось в плакатик:

Три — счастливое число

Они верили в это на старте, когда их было девять. Они готовы были верить в это и на финише, хотя теперь их осталось всего шестеро. Но в промежутке были — и могли снова повториться — мгновения горького неверия, когда любой ценой, если потребуется, даже ценою жизни, людям хотелось выбраться с корабля — и провались в преисподнюю весь этот полет! Жестокие мгновения, когда люди, силясь избавиться от мучащих их аудио-, клаустро- и полудюжины других фобий, затевали драки со своими товарищами.

Кинрад писал, а около левой его руки поблескивала вороненая сталь пистолета. Глаза смотрели в бортовой журнал, уши вслушивались в грохот. Шум мог ослабеть, стать прерывистым, прекратиться совсем — и благословение тишины одновременно было бы проклятьем. В наступившем безмолвии могли послышаться совершенно иные звуки — ругательства, выстрелы, крики. Такое уже случилось однажды, когда спятил Вейгарт. Такое могло случиться снова.

Да и у самого Кинрада нервы оставляли желать лучшего: когда неожиданно вошел Бертелли, капитан вздрогнул, а его левая рука инстинктивно дернулась к пистолету. Однако он моментально овладел собой и, повернувшись на вращающемся сиденье, взглянул прямо в печальные серые глаза вошедшего.

— Ну как, появилось?

Вопрос вызвал у Бертелли недоумение. Удлиненное грустное лицо с впалыми щеками еще больше вытянулось. Углы большого рта опустились. Печальные глаза приняли безнадежно-остолбенелое выражение. Он был удивлен и растерян.

Кинрад решил уточнить:

— Солнце па экране видно?

— Солнце?..

Похожие на морковки пальцы рук Бертелли судорожно сплелись.

— Да, наше Солнце, идиот!

— А, Солнце! — наконец-то он понял, и его глаза расширились от восторга. — Я никого не спрашивал.

— А я подумал, вы пришли сказать, что они его увидели.

— Нет, капитан. Просто у меня мелькнула мысль: не могу ли я чем-нибудь вам помочь?

Обычное уныние сменилось на его лице улыбкой простака, горящего желанием услужить во что бы то ни стало. Углы рта поднялись вверх и раздвинулись в стороны — так далеко, что уши оттопырились больше прежнего, а лицо приобрело сходство с разрезанной дыней.

— Спасибо, — немного смягчившись, сказал Кинрад. — Пока не надо.

Мучительное смущение овладело Бертелли с прежней силой. Лицо его молило о милосердии и прощении. Потоптавшись немного на своих огромных неуклюжих ногах, он вышел, поскользнулся на стальном полу узкого коридора и только в самый последний момент, грохоча тяжелыми ботинками, каким-то чудом восстановил равновесие. Не было случая, чтобы кто-нибудь другой поскользнулся на этом месте, но с Бертелли это происходило всегда.

Внезапно Кинрад поймал себя на том, что улыбается, и поспешил сменить выражение лица на озабоченно-хмурое. В сотый раз пробежал он глазами список членов экипажа, но нового почерпнул из него не больше, чем в девяноста девяти предшествовавших случаях. Маленький столбик, в котором три имени из девяти вычеркнуты. И та же самая строчка в середине списка: Энрико Бертелли, тридцати двух лет, психолог.

Это последнее не вязалось ни с чем. Если Бертелли психолог или вообще имеет хоть какое-нибудь отношение к науке, тогда он, Роберт Кинрад, — голубой жираф. Почти четыре года провели они взаперти в этом стонущем цилиндре — шесть человек, отобранных из всего огромного человечества, шестеро, которых считали солью Земли, сливками рода человеческого. Но эти шестеро были пятеро плюс Дурак.

Здесь скрывалась какая-то загадка. Он размышлял над ней в те минуты, когда мог позволить себе забыть о более серьезных делах. Загадка манила его, заставляла снова и снова рисовать в воображении Бертелли, начиная с его печальных глаз и кончая большими плоскими ступнями. В редкие минуты раздумий он обнаруживал, что снова и снова пытается (совершенно безрезультатно) разобраться в Бертелли, понять, чем тот живет, — пытается, сосредоточивая на нем все мысли и забывая на время об остальных.

Кинрад не упускал случая понаблюдать за ним, неизменно испытывая при этом изумление перед фактом такого умственного убожества — тем более у ученого, специалиста. Наблюдение за Бертелли так захватывало его, что ему даже в голову не приходило понаблюдать за другими и посмотреть, не заняты ли они тем же, чем и он, по тем же или очень похожим причинам.

Когда Кинрад пошел на ленч, Марсден нес вахту у приборов управления, а Вейл — в двигательном отсеке. Остальные трое уже сидели в тесной столовой. Он кивнул им и сел на свое место.

Большой белокурый Нильсен, инженер-атомщик, которому по совместительству пришлось стать ботаником, сказал, смерив его скептическим взглядом:

— Солнца нет.

— Знаю.

— А должно быть.

Кинрад пожал плечами.

— Но его все нет, — не отставал Нильсен.

— Знаю.

— Ну и как, вас это трогает?

— Не валяйте дурака, — и, надорвав пакет с ленчем, Кинрад высыпал содержимое в пластмассовую тарелку с несколькими отделениями.

«Бамм, бамм, бамм», — грохотали пол, потолки, стены.

— Так я, по-вашему, дурака валяю?

Нильсен подался вперед, со злобным ожиданием уставившись на него.

— Давайте поедим, — предложил Арам, худой, черный, нервный космогеолог, сидевший около Нильсена. — И так тошно.

— Нечего зубы заговаривать. Я хочу знать... — снова начал Нильсен.

Он замолчал, потому что Бертелли, пробормотав: «Простите», потянулся перед его носом за солонкой, привинченной к другому концу стола.

Отвинтив ее, Бертелли с солонкой в руке плюхнулся вниз и чуть не свалился на пол. От изумления он вытаращил глаза, вскочил, поставил солонку, выдвинул сиденье вперед, сел снова, сбил солонку со стола. Вспыхнув от стыда, поднял ее с таким видом, будто это не солонка, а большое ведро, посолил пищу и, чтобы привинтить солонку на прежнее место, закрыл телом весь стол. Наконец привинтил ее и, подняв зад, сполз со стола на свое сиденье, но только на этот раз сел мимо. В конце концов он устроился на сиденье, разгладил невидимую салфетку и обвел присутствующих загнанным, виноватым взглядом.

Глубоко вздохнув, Нильсен спросил его:

— Вы уверены, что хорошо посолили?

Трудный вопрос поставил Бертелли в тупик. Он нашел глазами свою тарелку, внимательно оглядел ее содержимое.

— Пожалуй, хорошо, благодарю вас.

Перестав жевать, Нильсен поднял глаза и, встретившись взглядом с Кинрадом, спросил:

— Что такое есть в этом парне, чего нет в других?

Улыбаясь до ушей, Кинрад ответил:

— Сам бы хотел понять, пытаюсь уже давно, но все безуспешно.

Лицо Нильсена осветилось подобием улыбки, и он признался:

— Я тоже.

Бертелли молча, сосредоточенно ел. Жевал он, как всегда, высоко подняв локти, а его рука неуверенно искала рот, мимо которого было просто невозможно пронести ложку.

Дотронувшись до экрана кончиком карандаша, Марсден сказал:

— Вот эта, по-моему, розовая. Но, может, мне это только кажется.

Кинрад нагнулся и стал вглядываться в экран.

— Слишком маленькая, ничего пока сказать нельзя. Прямо с булавочную головку.

— Значит, зря я надеялся.

— Может, и не зря. Возможно, цветовая чувствительность ваших глаз выше моей.

— Давайте спросим нашего Сократа, — предложил Марсден.

Бертелли стал рассматривать едва заметную точку, то приближаясь к экрану, то удаляясь от него, заходя то с одной стороны, то с другой. Наконец он посмотрел на нее, скосив глаза.

— Это наверняка что-то другое, — сообщил он, явно радуясь сделанному им открытию, — потому что наше Солнце оранжево-красное.

— Цвет кажется розовым благодаря флуоресцентному покрытию экрана, — с раздражением объяснил Марсден. — Эта точка — розовая?

— Не разберу, — сокрушенно признал Бертелли.

— Ну и помощничек!

— Тут можно только гадать, она слишком далеко, — сказал Кинрад. — Одного желания здесь мало — придется подождать, пока мы не окажемся немного ближе.

— Я уже сыт по горло ожиданием, — с ненавистью глядя на экран, сказал Марсден.

— Но ведь мы возвращаемся домой, — напомнил Бертелли.

— Я знаю. Это и убивает меня.

— Вы не хотите вернуться? — недоумевающе спросил Бертелли.

— Слишком хочу, — и Марсден с досадой сунул карандаш в карман. — Я думал, обратный путь будет легче хотя бы потому, что это путь домой. Я ошибся. Я хочу зеленой травы, голубого неба и места, где можно свободно двигаться. Я не могу больше ждать.

— А я могу, — гордо сказал Бертелли. — Потому что надо. Если бы я не мог, я бы сошел с ума.

— Да ну? — Марсден окинул Бертелли ироническим взглядом, и его нахмуренное лицо начало понемногу проясняться. Наконец у него вырвался короткий смешок. — Сколько же времени вам бы для этого понадобилось?

Не переставая смеяться, он вышел из кабины управления и направился в столовую. Заворачивая за угол, он расхохотался.

— Что тут смешного? — удивленно спросил Бертелли.

Оторвав взгляд от экрана, Кинрад внимательно посмотрел на него.

— Как это получается, что каждый раз, когда кто-нибудь начинает...

— Да, капитан?

— Нет, ничего.

Корабль мчался вперед, сотрясаясь: все его части и детали издавали стон.

Появился Вейл — его вахта кончилась, он шел в столовую. Он был невысокого роста, широкий в плечах, с длинными сильными руками.

— Ну что?

— Мы не уверены, — и Кинрад показал на точку, сиявшую среди множества ей подобных. — Марсден думает, что это оно и есть. Может быть, он прав, а может, и нет.

— Вы не знаете? — спросил Вейл, глядя на Кинрада и не обращая внимания на экран.

— Узнаем, когда придет время. Еще рановато.

— Запели по-новому?

— О чем это вы? — резко спросил Кинрад.

— Три дня назад вы говорили нам, что теперь Солнце может показаться на экране в любой момент. Это подняло нам дух — а мы в этом нуждались. Я не привык распускать нюни, но должен сознаться: что-нибудь в этом роде было мне нужно. — Он смерил Кинрада злым взглядом. — Чем радужней надежды, тем сильней разочарование.

— А вот я не разочаровываюсь, — сказал Кинрад. — Плюс-минус три дня — пустячная погрешность, если учесть, что обратный путь длится два года.

— Да — если курс правильный. А у меня нет в этом уверенности.

— То есть вы думаете, что я не в состоянии дать правильные координаты?

— Я думаю только, что даже лучшие из нас могут ошибаться, — упорствовал Вейл. — Разве первые два корабля не отправились к праотцам?

— Не из-за навигационных ошибок, — с глубокомысленным видом вставил Бертелли.

Скривившись, Вейл уставился на него:

— Вы-то что смыслите в космической навигации?

— Ничего, — признался Бертелли с гримасой человека, у которого удаляют зуб мудрости, и кивнул на Кинрада. — Но он смыслит.

— Да?

— Обратный маршрут был рассчитан покойным капитаном Сэндерсоном, — сказал Кинрад, лицо которого начала заливать краска. — Я проверял и перепроверял вычисления больше десяти раз, и Марсден тоже. Если вам этого мало, возьмите и проверьте их сами.

— Я не навигатор, — сердито сказал Вейл.

— Тогда закройте рот и помалкивайте, и пусть другие...

— Но я и не открывал его! — неожиданно возмутился вдруг Бертолли.

Переключившись на него, Кинрад спросил:

— Чего вы не открывали?

— Рта, — обиженно оказал Бертелли. — Не знаю, почему вы ко мне придираетесь. Все ко мне придираются.

— Вы ошибаетесь, — сказал Вейл. — Он...

— Вот видите, я ошибаюсь. Я всегда ошибаюсь. Я никогда не бываю прав.

Бертелли громко вздохнул и, тяжело переставляя свои огромные ноги, со страдальческим выражением побрел прочь.

Проводив его изумленным взглядом, Вейл сказал:

— Похоже на манию преследования. И такой, как он, считается психологом! Прямо смех.

Вейл приблизил лицо к экрану и начал внимательно его рассматривать.

— Которая, по мнению Марсдена, Солнце?

— Вот эта, — показал Кинрад.

Вейл хищным взглядом вперился в светящуюся точку и наконец сказал:

— Ладно, будем надеяться, что он прав.

И вышел.

Кинрад сел и вперил в экран невидящий взгляд. Его занимала проблема, которая, может быть, имела смысл, а может быть, и не имела: когда наука становится искусством? Или наоборот — когда искусство становится наукой?

На следующий день свихнулся Арам. У него начался приступ «чарли», тот же синдром, который привел к гибели Вейгарта. У болезни этой было и медицинское название, но очень немногие люди его знали и еще меньше могли выговорить. В обиходе же ее стали называть «чарли» — после древней, почти забытой войны, когда, бывало, хвостовой стрелок большого военного самолета, или, как его называли, «Чарли-на-хвосте», слишком много думавший о тяжелом грузе бомб и тысячах галлонов высокооктанового горючего за своей кабиной, похожей на клетку попугая, вдруг начинал выть и биться о стены своей призрачной тюрьмы.

Все началось с эпизода, очень типичного для этой космической болезни. Арам сидел рядом с Нильсеном и спокойно ел, ковыряя вилкой в своей разделенной на отделения пластмассовой тарелке с таким видом, будто у него совсем нет аппетита. Внезапно, не сказав ни слова и не изменившись в лице, он оттолкнул тарелку, вскочил и бросился вон из столовой. Нильсен попытался было задержать его, но не сумел. Арам, как кролик, спасающий свою жизнь, пулей вылетел в коридор и помчался по проходу к люку. Нильсен последовал за ним, а за Нильсеном — Кинрад. Бертелли замер на месте, не донеся вилки до рта, уставившись пустым взглядом в стенку напротив, ловя своими большими ушами доносящиеся из прохода звуки.

Они схватили Арама в тот момент, когда он с лихорадочной поспешностью пытался повернуть винт люка не в ту сторону. Люк он все равно не успел бы открыть, даже если бы поворачивал винт правильно. Его тонкое лицо было бледным, и он задыхался от натуги.

Оказавшись рядом, Нильсен резко повернул его лицом к себе и ударил в челюсть. Удар был сильнее, чем могло показаться со стороны. Арам, маленький и щуплый, покатился и, потеряв сознание, мешком плюхнулся у передней двери прохода. Потирая костяшки пальцев, Нильсен проворчал что-то себе под нос и проверил, хорошо ли закручен винт. Потом он взял Арама за ноги, а Кинрад за плечи, и они отнесли его, провисшего между ними, на койку. Нильсен остался сторожить его, а Кинрад пошел за шприцем. Следующие двенадцать часов Араму предстояло проспать. Это было единственное известное средство для таких случаев — искусственно вызванный сон, дававший возможность взбудораженному мозгу отдохнуть, а взвинченным нервам успокоиться.

Когда они вернулись в столовую, Нильсен сказал Кинраду:

— Хорошо еще, что он не прихватил с собой пистолета.

Кинрад молча кивнул. Он знал, что тот имеет в виду. Вейгарт, готовясь бежать с корабля на пузыре воздуха к иллюзорной свободе, не хотел подпускать их к себе, угрожая пистолетом. Кинуться на него, не рискуя жизнью, они не могли, и им пришлось, отбросив всякую жалость, застрелить его, пока не поздно. Вейгарт погиб первым из экипажа, и случилось это всего через двадцать месяцев после старта.

Они не могли допустить новой потери. Впятером можно было вести корабль, контролировать его движение, совершить посадку. Пять — это был абсолютный минимум. Четверо были бы обречены остаться навечно в огромном металлическом гробу, слепо громыхающем среди звезд.

С этой проблемой была связана и другая, которой Кинрад так и не мог разрешить — во всяком случае, удовлетворительным для себя образом. Следует ли держать выходной люк запертым на замок, ключ к которому у одного капитана? Или же в случае внезапной аварии это могло бы дорого им обойтись? В чем больше риска — в безумной попытке к бегству со стороны одного или в препятствии к спасению всех?

А ну, к черту все, — сейчас они летят домой, а когда прилетят, он сдаст бортовой журнал с подробными записями, и пусть головы поумнее разбираются во всем сами. Это их обязанность, а его — обеспечить благополучное возвращение.

Кинрад перевел взгляд на Нильсена, увидел сосредоточенно-угрюмое выражение его лица и понял, что тот тоже думает о Вейгарте. Ученые и инженеры при всем своем высокоразвитом интеллекте в сущности такие же люди, как все. Несмотря на свои познания и умения, они не могут изолировать себя от остального человечества. Вне круга своих профессиональных интересов это обыкновенные люди с такими же заботами и переживаниями, что и у прочих. Они не могут думать только о своей специальности и позабыть обо всем остальном. Иногда они думают о других людях, иногда о самих себе. Нильсен обладал высокоразвитым интеллектом, был умен и восприимчив — и тем больше было у него шансов свихнуться. Кинрад чувствовал, что уж Нильсен, если побежит к люку, прихватить с собой пистолет не забудет.

Вынести долгое заточение в огромном стальном цилиндре, по которому день за днем, час за часом (без передышки молотит дюжина дьяволов, могли только более тупые, более толстокожие — такие, про кого говорят, что у них коровьи мозги. Тут тоже было над чем задуматься умным головам. Дураки терпеливей и выносливей всех прочих, зато от них мало толку; умники необходимы, чтобы управлять кораблем, зато у них больше шансов свихнуться — хотя бы временно, не насовсем.

Каков же итог? Ответ: идеальный экипаж космического корабля должен состоять из безнадежных тупиц с высоким интеллектом — качества явно взаимоисключающие.

Вдруг его осенило. Не в этом ли скрывается разгадка тайны Бертелли? Те, кто проектировал и строил корабль, а потом подбирал для него экипаж, были люди неслыханной хитрости и прозорливости. Нельзя поверить, чтобы они выбрали такого, как Бертелли, и им было наплевать, что из этого получится. Подбор был целенаправленным и тщательно обдумывался — на этот счет у Кинрада не было никаких сомнений. Быть может, потеря двух кораблей убедила их в том, что, набирая экипаж, следует быть менее строгим? А может, они включили Бертелли, чтобы посмотреть, как покажет себя в полете дурак?

Если это предположение правильно, то кое-чего они достигли — но немногого. Наверняка Бертелли спятит и побежит к люку последним. Однако с точки зрения технических знаний в его пользу нечего было сказать. Из того, что необходимо знать члену космического экипажа, он почти ничего не знал, да и то, что знал, перенял у других. Любое дело, которое ему поручали, оказывалось виртуозно испорченным. Более того: огромные неуклюжие лапы Бертелли, лежащие на рычагах управления, представляли бы собой настоящую опасность.

Правда, его любили. В известном смысле он даже пользовался популярностью. Он играл на нескольких музыкальных инструментах, пел надтреснутым голосом, был хорошим мимом, с какой-то развинченностью отбивал чечетку. Когда раздражение, которое он сперва вызывал у них, прошло, Бертелли стал казаться им забавным и достойным жалости; чувствовать свое превосходство над ним было неловко, потому что трудно было представить себе человека, который бы этого превосходства не чувствовал.

«Когда корабль вернется на Землю, руководители поймут: лучше, если на корабле нет дураков без технического образования», — не совсем уверенно решил Кинрад. Умные головы провели свой эксперимент, и из этого ничего не вышло. Ничего не вышло. Ничего не вышло... Чем больше Кинрад повторял это, тем меньше уверенности ощущал.

В столовую вошел Вейл.

— Я думал, вы уже минут десять как кончили.

— Все в порядке. — Нильсен встал, стряхнул крошки и жестом пригласил Вейла сесть на освободившееся место. — Ну, я пошел к двигателям.

Взяв тарелку и пакет с едой, Вейл сел; поглядев на Кинрада и Нильсена, спросил:

— Что случилось?

— У Арама «чарли», он в постели, — ответил Кинрад.

На лице Вейла не отразилось никаких эмоций. Он резко ткнул вилкой в тарелку и сказал:

— Солнце вывело бы его из этого состояния. Увидеть Солнце — вот что нужно нам всем.

— На свете миллионы солнц, — сказал Бертелли тоном человека, с готовностью предлагающего их все.

Поставив локти на стол, Вейл произнес резко и многозначительно:

— В том-то и дело!

Взгляд Бертелли выразил крайнее замешательство. Он стал беспокойно двигать тарелкой и нечаянно сбросил с нее вилку. Продолжая глядеть на Вейла, нащупал вилку, взял ее за зубцы, не глядя ткнул ручкой в тарелку, потом поднес ручку ко рту.

— А может быть, лучше другим концом? — спросил Вейл, с интересом наблюдая за ним. — Он острее.

Бертелли опустил глаза и стал внимательно рассматривать вилку, постепенно лицо его начало приобретать рассеянно-удивленное выражение. Он по-детски беспомощно развел руками и, одарив собеседников обычной для него извиняющейся улыбкой, одновременно, как бы между прочим, одним движением большого и указательного пальцев положил вилку ручкой к себе в ладонь.

Вейл не увидел этого движения, но Кинрад его заметил — и на миг у него появилось странное, трудно объяснимое чувство, что Бертелли допустил маленькую оплошность, крохотную ошибку, мимо которой могли пройти, не обратив на нее внимания.

Кинрад был уже в своей кабине, когда услышал по системе внутренней связи голос Марсдена:

— Арам очнулся. Щека у него распухла, но сам он вроде бы поостыл. По-моему, снова колоть его не нужно — во всяком случае, пока.

— Пусть ходит, но будем за ним присматривать, — решил Кинрад. — Скажи Бертелли, чтобы держался к нему поближе, — хоть при деле будет.

— Хорошо.

Марсден помолчал, потом добавил, понизив голос:

— Что-то Вейл киснет в последнее время — вы заметили?

— По-моему, с ним все в порядке. Иногда нервничает, но не больше, чем все мы.

— Пожалуй.

Голос Марсдена прозвучал так, словно ему хотелось добавить еще что-то; но ничего больше он не сказал.

Закончив в журнале последние записи за этот день, Кинрад посмотрел на себя в зеркало и решил, что повременит с бритьем еще немного — маленькая роскошь, которую он мог себе позволить. Процедуру эту он не любил, а отпустить бороду у него не хватало смелости. Разные люди — разные понятия.

Он откинулся в своем вращающемся кресле и задумался — сперва о планете, которая была для них домом, потом о людях, пославших в космос корабль, а потом о людях, летящих в нем вместе с ним. Они, шестеро, первые достигшие другой звезды, прошли подготовку, которая отнюдь не была односторонней. Трое из них (профессиональные космонавты) быстро, но основательно познакомились с какой-то областью науки, а трое других (ученые) прослушали курс атомной техники или космонавигации. Две специальности на каждого. Он подумал еще немного и исключил Бертелли.

Подготовка к полету этим не ограничилась. Лысый старикан, заведовавший желтым домом, с видом знатока наставлял их по части космического этикета. Каждый, объяснил он, будет знать только имя, возраст и специальность своих товарищей. Никто не должен расспрашивать других или пытаться хоть краем глаза заглянуть в их прошлое. Когда жизнь человека неизвестна, говорил он, труднее найти повод для иррациональной вражды, придирок и оскорблений. У «ненаполненных» личностей меньше оснований вступать в конфликт. Было сказано, что ни один из них не должен требовать откровенности от другого.

Таким образом, Кинрад не мог узнать, почему Вейл чрезмерно раздражителен, а Марсден — нетерпеливей остальных. Он не располагал данными о прошлом своих товарищей, которые помогли бы ему понять, почему Нильсен потенциально самый опасный, а Арам наименее устойчивый. И он не мог настаивать на том, чтобы Бертелли объяснил свое присутствие на корабле. До успешного завершения их миссии история каждого оставалась скрытой за плотным занавесом, сквозь который лишь иногда можно было разглядеть что-то малозначительное.

Прожив бок о бок с ними почти четыре года, он теперь знал их так, как не знал никого, но все же не так, как узнает в один прекрасный день на зеленых лугах Земли, когда полет станет прошлым, табу будет снято и они смогут делиться воспоминаниями.

Он любил размышлять об этих вещах, потому что у него возникла одна идея, которую он по возвращении собирался предложить вниманию специалистов. Идея касалась отбывающих пожизненное заключение. Он не верил, что все преступники глупцы. Наверняка многие из них — умные люди с тонкой душевной организацией, которых что-то столкнуло с так называемого прямого пути. У некоторых из них, когда они оказывались запертыми в четырех стенах, начинался приступ «чарли», они пытались вырваться любой ценой, бросались о кулаками на надзирателя — все, все, что угодно, лишь бы бежать, — и результатом этого было одиночное заключение. Это все равно что лечить отравленного еще более сильной дозой отравившего его яда. Нельзя так, нельзя! Он был твердо убежден в этом. В Кинраде было что-то от реформатора.

На его рабочем столе всегда лежала составленная им, аккуратно написанная от руки программа профилактических мер для тех пожизненно осужденных, которым угрожает помешательство. Программой предусматривалось постоянное индивидуальное наблюдение и своевременное использование трудотерапии. Какова практическая ценность этой программы, Кинрад не знал, но выглядела она конструктивной. Это было его любимое детище. Пусть маститые пенологи\* рассмотрят его и проверят на практике. Если он окажется стоящим (а Кинрад был склонен думать, что так оно и будет) их полет принесет миру пользу еще в одном, совершенно непредвиденном отношении. Ради одного этого стоило его предпринять.

Тут его мысли были прерваны неожиданным появлением Нильсена, Вейла и Марсдена. За ними стояли Арам и Бертелли. Кинрад выпрямился, не вставая, и проворчал:

— Замечательно! У пульта управления — ни души.

— Я включил автопилот, — сказал Марсден. — Он продержит корабль на курсе четыре-пять часов, вы нам это сами говорили.

— Верно. — Он обвел их лица пристальным взглядом. — Ну, так что же означает эта мрачная депутация?

— Кончается четвертый день, — сказал Нильсен. — Скоро начнется пятый. А мы по-прежнему ищем Солнце.

— Ну и что?..

— Я не уверен, что вы знаете, куда мы летим.

— А я уверен.

— Это точно или вы морочите нам голову?

Поднявшись на ноги, Кинрад сказал:

— Хорошо, допустим, я признаюсь, что мы летим вслепую, что тогда вы сделаете?

— На этот вопрос ответить легко, — сказал Нильсен тоном человека, худшие опасения которого оправдываются. — Когда умер Сэндерсон, мы выбрали в капитаны вас. Мы можем отменить решение и выбрать другого.

— А потом?

— Полетим к ближайшей звезде и постараемся найти планету, на которой мы могли бы жить.

— Ближайшая звезда — Солнце.

— Да, если мы идем правильным курсом, — сказал Нильсен.

Выдвинув одни из ящиков стола, Кинрад извлек оттуда большой свернутый в трубку лист бумаги и развернул его. Сетку мелких квадратиков, густо усыпанную крестиками и точками, пересекала пологая кривая — жирная черная линия.

— Вот обратный курс. — Он поочередно ткнул пальцем в несколько крестов и точек. — Непосредственно наблюдая эти тела, мы в любой момент можем сказать, правилен ли наш курс. Есть только одно, чего мы не знаем точно.

— Что же? — спросил Вейл, хмуро глядя на карту.

— Наша скорость. Ее можно измерить только с пятипроцентной погрешностью в ту или иную сторону. Я знаю, что наш курс правильный, но не знаю точно, сколько мы прошли. Вот почему мы ожидали увидеть Солнце четыре дня назад, а его все нет. Предупреждаю вас, что это может продлиться и десять дней.

Четко выговаривая каждое слово, Нильсен сказал:

— Когда мы улетали с Земли, созвездия были сфотографированы. Мы только что накладывали на экран пленки — не сходится.

— Как же может сойтись? — в голосе Кинрада зазвучало раздражение. — Ведь мы не в той же точке. Обязательно будет периферическое смещение.

— Хоть мы и не получили настоящей штурманской подготовки, но кое-что все-таки соображаем, — огрызнулся Нильсен. — Да, есть смещение. Но распространяется оно от центра, вовсе не совпадающего с розовой точкой, которая, по вашим словам, и есть Солнце. Центр этот — примерно на полпути между розовой точкой и левым краем экрана. — И, презрительно фыркнув, он добавил: — Интересно, что вы теперь скажете.

Кинрад тяжело вздохнул и провел пальцем по карте.

— Как видите, это кривая. Полет с Земли шел по сходной кривой, только выгнутой в противоположную сторону. Хвостовой фотообъектив сфокусирован по оси корабля. Пока мы были в нескольких тысячах миль от Земли, он был обращен в сторону Солнца, но чем дальше уходил корабль, тем больше отклонялась от этого направления его ось. Ко времени, когда мы пересекли орбиту Плутона, она указывала уже черт-те куда.

Всматриваясь в карту, Нильсен задумался, а потом спросил:

— Допустим, я вам поверю — сколько это может продлиться, самое большее?

— Я уже сказал — десять дней.

— Почти половина срока прошла. Подождем, пока не пройдет вторая.

— Спасибо! — с иронией сказал Кинрад.

— Тогда мы или убедимся, что видим Солнце, или назначим нового капитана и полетим к ближайшей звезде.

— Кому быть капитаном? Надо бросить жребий, — предложил стоявший сзади Бертелли. — Может, и мне удастся покомандовать кораблем!

— Сохрани нас бог! — воскликнул Марсден.

— Мы выберем того, кто подготовлен лучше остальных, — сказал Нильсен.

— Но ведь потому мы и выбрали Кинрада, — напомнил Бертелли.

— Возможно. А теперь выберем кого-нибудь другого.

— Тогда я настаиваю, чтобы рассмотрели и мою кандидатуру. Один дурак может все испортить не хуже другого.

— Ну, гусь свинье не товарищ, — поспешил сказать Нильсен, в глубине души чувствуя, что все его усилия Бертелли незаметно сводит на нет. — Вот когда вы двигаете ушами, тут мне за вами не угнаться.

Он посмотрел на остальных:

— Правильно я говорю?

Они закивали, улыбаясь.

Это не был триумф Нильсена. Это был триумф кого-то другого.

Просто потому, что они улыбались.

Вечером Бертелли устроил очередную пирушку. Поводом для нее опять послужил его день рождения. Каким-то образом он ухитрился отпраздновать за четыре года семь дней рождения — и почему-то никто не счел нужным их посчитать. Но лучше не перегибать палку, и на этот раз он объявил, что выдвигает на пост капитана свою кандидатуру и поэтому хочет снискать расположение избирателей — повод не хуже любого другого.

Они навели в столовой порядок, как делали уже раз двадцать. Раскупорили бутылку джина, разлили поровну, с угрюмой сосредоточенностью выпили. Арам, как всегда, принялся посвистывать, имитируя птичье пение, и получил обычную порцию вежливых аплодисментов. Марсден прочитал наизусть какие-то стишки о карих глазах маленькой нищенки. К тому времени, когда он кончил, Нильсен оттаял достаточно, чтобы пропеть своим глубоким, звучным басом две песни. На этот раз он обновил репертуар и был вознагражден громкими аплодисментами.

Правда, не было Вейгарта с его фокусами. И в концерте не принимали участия Докинс и Сэндерсон. Но, предвкушая выступление премьера, крохотная горстка зрителей на время забыла об отсутствующих.

Премьер? Бертелли, кто же еще! Тут он был вне конкуренции, и именно поэтому к такому недотепе, как он, притерпелись, стали снисходительны и, быть может, даже прониклись любовью.

Когда они устроили пирушку по случаю посадки на незнакомую планету, он почти целый час играл на гобое и проделывал с ним штуки, в возможность которых никто из них раньше не поверил бы. Под конец он изобразил столкновение автомобилей — тревожные гудки, звук удара и яростную перебранку водителей. Нильсен тогда от смеха чуть не скатился со своего сиденья.

На обратном пути они без какого-либо особенного повода устроили еще две-три такие вечеринки. Бертелли вынул челюсти (отчего лицо его стало как резиновое) и начал показывать пантомиму. Руки его извивались как змеи. Он изображал моряка, который, сойдя на берег, ищет себе подругу. Находит, преследует, пытается завязать знакомство, получает отпор, уговаривает, идет с ней на шоу, провожает домой, задерживается на пороге и зарабатывает синяк под глазом.

В следующий раз он сменил эту роль на противоположную — стал пухлой блондинкой, которую преследует жаждущий любви моряк, без слов, но жестами, позами и мимикой, по выразительности равными речи или даже превосходящими ее, он показал те же события, завершившиеся оплеухой на крыльце ее дома.

На этот раз он изобразил застенчивого скульптора, ваяющего из воображаемой глины статую Венеры Милосской. Создавая несуществующую фигуру, он робко гладил ее, нервно похлопывал, смущенно делал ее почти зримой. Он скатал два шара с пушечное ядро каждый, пришлепнул, зажмурившись, ей на грудь, а потом скатал два крошечных шарика, стыдливо прилепил их к большим шарам и мягкими движениями пальцев придал им нужную форму.

Двадцать минут, наполненных весельем, потребовалось Бертелли, чтобы почти вылепить ее, после чего он вдруг заметался в тревоге: стал осматривать горизонт, выглянул за дверь, заглянул под стол, дабы убедиться, что он наедине со статуей. Наконец, успокоенный, но полный смущения, он робко шагнул к Венере, попятился, снова набрался смелости, опять ее лишился, еще раз исполнился отваги, которая затем, в критический момент, его снова покинула.

Вейл давал ему забористые советы, а Нильсен, откинувшись, держался за живот — у него от смеха ныла диафрагма. Собравшись наконец с духом, Бертелли метнулся к невидимой статуе, упал, зацепившись одной ногой за другую, и проехался лицом по стальным листам пола. Нильсен задыхался. Рассвирепев, Бертелли вскочил на ноги, закинул нижнюю губу на кончик своего носа, подвигал ушами, похожими на уши летучей мыши, зажмурил глаза, ткнул в статую пальцем — и у Венеры появился пупок.

В последующие дни, вспоминая пантомиму, они то и дело обводили руками в воздухе невидимые округлости или тыкали друг друга пальцем в живот. Призрачная Венера веселила их до тех пор, пока не появилось, наконец, долгожданное Солнце.

К концу восьмого дня, во время очередной проверки, Марсден обнаружил, что при наложении одной из пленок на экран звезды на пленке, если принять за центр точку на два дюйма левее розового огонька, ставшего заметно ярче, совпадают со звездами на экране. Он издал вопль, услышав который, все бросились к нему, в носовую часть корабля.

Это действительно было Солнце. Они смотрели на него, облизывали пересохшие от волнения губы, смотрели снова. Когда ты закупорен в бутылке, четыре года в звездных просторах могут показаться за сорок. Один за другим заходили они в кабину Кинрада и, ликуя, перечитывали висящий на стене плакатик:

ТРИ — СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

Дух экипажа поднялся до небывалых высот. Дрожание и гудение корабля перестали казаться назойливыми — теперь они вселяли надежду.

Новое напряжение, совсем непохожее на то, что было раньше, скрутило в клубок их натянутые до предела нервы — слишком долго ждали они того, чему скоро предстояло свершиться. И наконец они услышали в приемнике чуть различимый голос Земли. Голос крепчал день ото дня — и вот он уже ревел из громкоговорителя, а передний иллюминатор закрыла половина планеты.

— С места, где я стою, я вижу океан лиц, обращенных к небу, — говорил диктор. — Не меньше полумиллиона людей собралось здесь в этот великий для человечества час. Теперь вы уже в любой момент можете услышать рев первого космического корабля, возвращающегося из полета к другой звезде. Нет слов, чтобы передать...

Хуже всего было сразу после приземления. Оглушительная музыка, гром приветствий. Рукопожатия, речи — и позирование перед фоторепортерами, кинохроникой, телеобъективами, перед бесчисленным множеством любительских кинокамер.

Наконец все позади. Кинрад попрощался с экипажем. Рука его ощутила по-медвежьи мощную хватку Нильсена, мягкое и сердечное рукопожатие Арама, робкое, застенчивое прикосновение Бертелли.

Глядя в его печальные глаза, Кинрад сказал:

— Ну, теперь они как волки набросятся на все данные, которые мы для них собрали. Надеюсь, вы кончили свою книгу?

— Какую книгу?

— Ну-ну, меня не проведешь, — и он многозначительно подмигнул. — Вы ведь были па должности психолога, не так ли?

Ответа он ждать не стал. Забрав бортовые записи, он отправился в Управление.

Ничуть не изменившийся за четыре года, Бэнкрофт грузно уселся за свой стол и с виновато-иронической улыбкой сказал:

— Ты видишь перед собой толстяка, который радуется повышению по службе и прибавке к жалованью.

— Поздравляю.

Кинрад свалил на стол свою ношу и тоже сел.

— И то и другое я с удовольствием отдал бы за молодость и приключения.

Бэнкрофт бросил полный жадного любопытства взгляд на принесенное Кинрадом и продолжал:

— У меня к тебе куча вопросов, но я знаю, что ответы запрятаны где-то среди этих страниц, а ты сейчас, наверное, спешишь домой.

— За мной должен прийти вертолет — если продерется через эту толкотню в воздухе. У меня есть еще минут двадцать.

— Тогда я ими воспользуюсь, — и Бэнкрофт, вперив в него испытующий взгляд, подался вперед. — Что ты можешь сказать о судьбе первых двух кораблей?

— Мы обыскали семь планет — ничего.

— Не садились, не разбивались?

— Нет.

— Значит, полетели дальше?

— Очевидно.

— Почему, как ты думаешь?

Кинрад заколебался, потом сказал:

— Это всего лишь мое предположение. Я думаю, они потеряли несколько человек — несчастные случаи, болезни и тому подобное. А оставшихся было слишком мало, чтобы управлять кораблем.

Он помолчал и добавил:

— Мы сами потеряли троих.

— Плохо, — помрачнел Бэнкрофт. — Кого именно?

— Вейгарта, Докинса и Сэндерсона. Вейгарт умер еще на пути с Земли. Так и не удалось ему увидеть новое солнце, не говоря уже о своем. Сам прочтешь — там все записано, — кивком головы он показал на бумаги. — Другие двое погибли на четвертой планете, которую я считаю непригодной для заселения людьми.

— Почему?

— Под ее поверхностью живут большие прожорливые существа. Слой почвы в шесть дюймов толщиной, а под ним — пустоты. Сэндерсон ходил, смотрел — и вдруг провалился прямо в красную мокрую пасть размером в четыре на десять футов, которая сразу его проглотила. Докинс бросился на выручку и провалился в другую — такую же. — Сжав переплетенные пальцы, он кончил: — Ничего нельзя было сделать — ничего.

— Жалко их, очень жалко. — Бэнкрофт грустно покачал головой. — А остальные планеты?

— Четыре непригодны. Две — как по заказу.

— Это уже что-то!

Бэнкрофт бросил взгляд на небольшие часы, стоявшие на его столе, и торопливо заговорил:

— Теперь о корабле. Твои докладные наверняка полны критических замечаний. Ничто не совершенно, даже лучшее из того, что нам удалось создать. Какой у него, по-твоему, самый главный недостаток?

— Шум. Он сводит с ума. Его необходимо устранить.

— Не совсем, — возразил Бэнкрофт. — Мертвая тишина вселяет ужас.

— Если не совсем, то хотя бы частично, до переносимого уровня. Поживи с ним недельку, тогда поймешь.

— Прямо скажу — не хотелось бы. Эта проблема решается, хотя и медленно. На испытательном стенде уже новый, не такой шумный тип двигателя. Сам понимаешь, прогресс — как-никак четыре года прошло.

— Это самое необходимое, — сказал Кинрад.

— А что ты скажешь об экипаже? — спросил Бэнкрофт.

— Лучшего еще не было.

— Так и мы думаем. В этот раз мы сняли с человечества сливки — на меньшее согласиться было нельзя. Ни один из них в своей области не знает себе равных.

— Бертелли тоже?

— Я знал, что ты о нем спросишь. — Бэнкрофт улыбнулся чему-то. — Хочешь, чтобы я рассказал?

— Я не могу настаивать, но, конечно, хотелось бы знать, зачем вы включили в экипаж балласт.

Бэнкрофт больше не улыбался.

— Мы потеряли два корабля. Один мог погибнуть случайно. Два не могли. Трудно поверить, чтобы столкновение с метеоритом или какое-нибудь другое событие вроде этого с вероятностью порядка один против миллиона могло произойти два раза подряд.

— Я тоже не верю.

— Мы потратили годы на изучение этой проблемы, — продолжал Бэнкрофт, — и каждый раз получали один и тот же ответ: дело не в корабле, а только в людях. Проводить четырехлетний эксперимент на живых людях мы не хотели, и нам оставалось только размышлять и строить догадки. И вот однажды, чисто случайно, мы набрели на путь, ведущий к решению проблемы.

— Каким образом?

— Мы сидели здесь и, наверно, в сотый или двухсотый раз ломали голову над проклятой проблемой. Вдруг эти часы остановились, — и он показал на часы, стоявшие перед ним. — Парень по имени Уиттейкер с научно-исследовательской станции космической медицины завел их, встряхнул, и они пошли. И тут Уиттейкера осенило. — Взяв часы со стола, Бэнкрофт поднял заднюю крышку и показал собеседнику механизм. — Что ты видишь?

— Шестеренки и колесики.

— И больше ничего?

— Пару пружин.

— Ты уверен, что это все?

— Во всяком случае, все, что важно, — твердо ответил Кинрад.

— Так только кажется, — сказал Бэнкрофт. — Ты впал в ту же ошибку, в которую впали мы, когда снаряжали первые два корабля. Мы создавали огромные металлические часы, где шестеренками и колесиками были люди. Шестеренками и колесиками из плоти и крови, подобранными с такой же тщательностью, с какой подбирают детали к высокоточному хронометру. Но часы останавливались. Мы проглядели то, о чем внезапно догадался Уиттейкер.

— Что же это было?

— Немного смазки, — улыбнувшись сказал Бэнкрофт.

— Смазки? — выпрямившись в кресле, удивленно спросил Кинрад.

— Упущение наше было вполне понятно. Мы, люди техники, живущие в эру техники, склонны думать, будто мы — все человечество. Но это совсем не так. Возможно, мы составляем значительную его часть, но не более. Непременной принадлежностью цивилизации являются и другие — домохозяйка, водитель такси, продавщица, почтальон, медсестра. Цивилизация была бы настоящим адом, если бы не было мясника, булочника, полицейского, а были бы только люди, нажимающие на кнопки компьютеров. Мы получили урок, в котором кое-кто из нас нуждался.

— Что-то в этом есть, — признал Кинрад, — хотя я не понимаю, что именно.

— Перед нами стояла и другая проблема, — продолжал Бэнкрофт. — Что может служить смазкой для людей — колесиков и шестеренок? Ответ: только люди. Какие люди выполняют роль смазки?

— И тогда вы раскопали Бертелли?

— Да. Его семья была смазкой для двадцати поколений. Он — носитель великой традиции и мировая знаменитость.

— Никогда о нем не слыхал. Он летел под своим именем?

— Под своим собственным.

— Я его не узнал, и никто из остальных тоже — какая же он знаменитость? Может, ему сделали пластическую операцию?

— Никакой операции не потребовалось. — Поднявшись, Банкрофт вразвалку подошел к шкафу, открыл его, порылся немного, нашел большую блестящую фотографию и протянул ее Кинраду: — Он просто умылся.

Взяв фото в руки, Кинрад уставился на белое как мел лицо. Он не отрываясь рассматривал колпак, нахлобученный на высокий фальшивый череп, огромные намалеванные брови, выгнутые в вечном изумлении, красные круги, нарисованные вокруг печальных глаз, гротескный нос в форме луковицы, малиновые губы от уха до уха, пышные кружевные брыжи вокруг шеи.

— Коко!

— Двадцатый Коко, осчастлививший своим появлением этот мир, — подтвердил Бэнкрофт.

Взгляд Кинрада снова вернулся к фотографии.

— Можно ее взять?

— Конечно! Я всегда могу достать хоть тысячу таких же.

Кинрад вышел, из управления как раз вовремя, чтобы увидеть, как предмет его раздумий гонится за такси.

Вокруг руки Бертелли мячиком плясала сумка с наспех запиханными в нее вещами, а сам он двигался шаржированно развинченными скачками, высоко поднимая ноги в больших тяжелых ботинках. Длинная шея вытянулась вперед, а лицо было уморительно печальное.

Много раз Кинраду чудилось в позах Бертелли что-то смутно знакомое. Теперь, зная то, что он знал, Кинрад понял: он видит классический бег циркового клоуна, что-то ищущего на арене. Если бы Бертелли вдобавок испуганно оглядывался через плечо на скелет, волочащийся за ним на длинной бечевке, картина была бы совсем полной.

Бертелли догнал такси, бессмысленно улыбнулся, и, забросив в машину сумку, влез сам. Такси рванулось с места и умчалось, извергая две струи газа из реактивных двигателей под корпусом.

Кинрад стоял и смотрел невидящим взглядом в небо и на обелиски космических кораблей. А внутренним взором он видел сейчас весь мир, видел его как гигантскую сцену, на которой каждый мужчина, женщина и ребенок играет прекрасную и необходимую для всех роль.

И, доводя до абсурда ненависть, себялюбие и рознь, над актерами царит, связывая их узами смеха, клоун.

Если бы Кинраду пришлось набирать экипаж, он не мог бы выбрать лучшего психолога, чем Бертелли.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Пенолог — специалист в области пенологии, науки о наказаниях за правонарушения.